

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://abramovfyodor.ru/> Приятного чтения!  
Федор Абрамов Мамониha

Приезд гостей застал тетку Груню явно врасплох, она выбежала на крыльцо босиком, без платка, в старом-престаром сарафанишке аглицкого ситца, какой, бывало, надевала по великим праздникам.

– О, о, кто приехал-то! – запрочитала она по-родному, окая, враспяг. – А я ведь думала, уж и ты передумал.

Мокрый от старушечьих поцелуев и слез, Клавдий Иванович шагнул в желанную прохладу нетопленной избы (тридцать градусов в одиннадцать утра было!), и тут все разом разъяснилось: брат и сестра не приедут – тетка две телеграммы подала ему. На Никодима, как было сказано в телеграмме, неожиданно свалилась важная командировка, а у Татьяны – тоже неожиданно – заболел сын.

Клавдию Ивановичу обидно было до слез. Ведь договаривались же, списывались: нынешним летом собраться под родной отцовской крышей – больше десяти лет не виделись друг с другом. А потом, надо было что-то решать и с самим домом – тетка Груня в каждом письме плакалась: разорили охотники да пастухи ваше строенье, одни стеяы остались, да и тех скоро не будет.

У Клавдия Ивановича было отходчивое сердце, и сам он быстро справился с собой. Ну не приедут и не приедут – что поделаешь? Чего не бывает в жизни? Но жена... Как все это объяснить, втолковать жене?

Полина последние три месяца, можно сказать, только тем и занималась, что шила платья да всякие там женские штуковины – не хотелось ударить лицом в грязь перед столичными. И сколько она денег на это добро извела, так это страшно и выговорить. И вот на тебе – все зря.

Первые минуты за столом сидели, как на похоронах.

Всех – и тетку, и грузную соседку Федотовну, которая приплелась посмотреть на дальних гостей, и, конечно, самого Клавдия Ивановича – всех замораживал мрачный вид Полины.

Оттаяла она немного лишь после того, как пропустили по второму колокольчику. Тут сразу с облегчением вздохнувший Клавдий Иванович скинул теснившие ногу туфли, снял запотелые носки и начал босиком расхаживать по некрашеному, льняному полу – сколько уж лет не чувствовал под ногой певучей деревянной половицы!

– Походи, походи, Клавдий Иванович, – одобрительно закивала тетка. – Вишь вот, ты в отца ногой-то. У того, бывало, нога не терпела неволи. В чей дом ни зайдет – в свой, в чужой, а первым делом долой сапог да валенок, иначе ему и жизнь не в жизнь...

– Дак ведь не зря босым и звали, – подковырнула Федотовна.

Тетка стеной встала за покойного брата. Дескать, верно, босым звали – у кого раньше прозвища не было, да не босым жил. Ну-ко, кто такое житье имел? Кто в колхоз столько добра сдал? Корову, быка-двухлетка, да кобылу в самой поре, да жеребца выездного, да трои сани, да две телеги...

– Нет, нет, – отрезала тетка, – не по прозвищу величали Ивана Артемьевича, а по фамилии. А фамилья у нас, Устинья Федотовна, сама за себя говорит: Сытины. – И вдруг горько расплакалась. – Все, боле, Клавдя, нету нашей Мамониha. Одни медведи теперека живут, да еще Соха-горбунья мается.

– Соха-горбунья? Она жива?

– Жива, жива. Всю зиму, бедная, из халупы не вылезит, как в берлоге сидит.

– Давай дак не рыдай, – строго заметила Федотовна. – Нашла о ком плакать. Мало у ей помощников-то...

– Это у Сохи-то помощники?

– А чё? Всю жизнь лешаки да бесы служат, вся погань, вся нечисть у ей на побегушках.

– Не говори чего не надо-то. Всего можно на человека наговорить.

– Да ты где, в каких краях-то выросла?

Разговор становился шумным, крикливым: обе старухи – и тетка, и Федотовна – всю жизнь вот так, ни за что не уступят друг дружке, и Клавдий Иванович с тревогой начал поглядывать на неплотно прикрытую дверь на другую половину, куда незадолго до этого ушла передохнуть Полина с сыном.

Тетка на это чуть заметно покачала головой: не нравилось ей, что племянник под пятой у жены, да, похоже, и Федотовна кое-какую зарубку в своей большой мужикоподобной голове сделала – больно уж сочувственно поглядела на него. Но Клавдий Иванович и ухом не повел.

Пускай себе думают что хотят. Разве они знают, сколько мук приняли Полина и Виктор за дорогу! Целые сутки парились-душились в поезде, да сутки без мала сидели на областном аэродроме, да этот районный автобус, будь он неладен: жара, духота, давка, пылица – рот затыкает...

Спасение пришло от какой-то сопленосой девчушки.

Девчушка вдруг закричала под раскрытым окошком:

– Федотовна, чего расселася, как баржа! Коза у тебя в огороде благим матом орет, вокруг кола запуталась.

– Манька? – Старуха живо вскочила на ноги. – Да пошто запуталась-то? Я токо-токо была у ей. – И вскоре уже, шумно дыша, затопала под окошками.

Когда она наконец выгреблась из заулка, тетка со вздохом сказала:

– Тепере по всему Резанову расславит. Наплетет с три короба.

– А чего ей плести-то?

Тетка обиженно поджала губы: мол, чего в прятки-то играть. Не знаешь разве Федотовну? И разговор перевела на дом:

– Продавать вам надо свою вотчину, покудова пастухи да охотники не спалили. Я весной была – огневище в передней-то избе. Сколько-то камешков, кирпичиков на пол брошено, а на них уголье.

– Да разве печи в избе нету? – вознегодовал Клавдий Иванович.

– А в печи-то неинтересно. А тут бутылка в хайло и огоничком припекает. Как на курорте. Злыдень, злыдень пошел народ. Совсем образ потерял. – И тетка опять принялась толковать про продажу дома.

– А покупатели-то найдутся? – спросил Клавдий Иванович. – Я от райцентра сюда ехал – этого добра, домов нежилых-то, в каждой деревне навалом.

– То старье, дрова. А которые получше да покрепче, те подбирают. У нас Геннадий Матвеевич большие деньги загребают. Сколько уж домов на станцию да в район свез. Был тут как-то. Напиши, говорит, своим умникам, это вам-то: сколько, говорит, еще дом будут мурыжить? Але ждуть, когда по ветру пустят? Да он сам и пустит – рука не дрогнет. Знаешь ведь, какого роду-племени.

– Чего-то я, тета, не пойму, о ком ты... – пожал плечами Клавдий Иванович.

– Давай дак чего понимать-то! – загорячилась старуха. – Геха-маз. Матюги-быка сын.

– Да ну! Геха-бык здесь? – Клавдия Ивановича прошибло слезой, и он не стыдился ее: вместе на одной улице росли, вместе в одну школу бегали, вместе в армию в один день призывались... Да разве все перечислишь?

– Здесь, здесь, – сказала тетка. – Только быком-то ноне не зовут – сам прозвище себе зарбил. На грузовике ездит, «маз» называется – страсть какой зверь.

Мимо-то идет-едет – у меня дом дрожмя дрожит от страху. Вот «маз» от этот и переборол отцовскую кличку. Нынче про «быка»-то никто и не вспомнит.

Тетка, слегка прищуриив глаза, вытянула старую белую шею в сторону раскрытого окна.

– В деревню-то въезжали – видел дворец-то каменный, там, где ране дом лесничего был? Ну дак то Геннадия Матвеевича владенья. Да, ни у кого отродясь в Резанове каменных хором не бывало, да и в других деревнях не помню, а он вот, на-ко, построил. Самого лесничего, барина, переплюнул, а про кулаченных, я про тех уж и не говорю – голяки против его. Всех, всех под себя подмял. И людей, и леса. Машинный человек, вся жизнь у его в руках.

– Надо будет как-нибудь заглянуть, – сказал Клавдий Иванович.

– Да не как-нибудь, – возразила тетка, – а сегодня же, сию минуту, ежели хочешь поскорей домой попасть. А то уедет на сенокос але еще куда – ищи его тогда.

Резаново для Клавдия Ивановича было второй родиной. К тетке Груне его начали возить чуть ли не с пеленок, и мог ли он сейчас, выйдя на улицу, удержаться от того, чтобы не обежать деревню, хотя бы ее верхний конец?

Не далеко, не далеко ушагало Резаново от тех деревень, которыми они сегодня проезжали. Нового дома – ни одного на весь конец, а старые разваливались на глазах.

Один клюнул на перед, другой скосило набок, у третьего крыша провалилась – верблюды да и только, а четвертый без окон, без дверей – как сарай... И где бывалошны огороды при домах? Где овцы, которые всегда в жару серыми да черными валунами лежали под окошками, в тени у старых бань, пропахших дымом да баннным листом?

Но особенно не по себе стало Клавдию Ивановичу, когда он свернул на задворки да увидел развороченные, распиленные на дрова дворы, в которых раньше держали скот... В сорок седьмом он пастушил в Резанове – сорок три коровы было в верхнем конце у колхозников, а тепер сколько? Неужели ни одной?

Тучи, собравшиеся на сердце, немного разогнала тетка Груня. Старинной выделки человек! Долго ли он огибал верхний конец деревни? Минут десять пятнадцать, ну от силы двадцать, а старуха уж тюкала косой в своем огородишке на задах.

– Коса-то налажена? – весело окликнул ее Клавдий Иванович.

Аграфена Артемьевна не отозвалась. Она вся была в работе. И как для истинно набожного человека во время молитвы ничего не существует вокруг, так не существовало сейчас ничего и для нее.

Знакомой-презнакомой тропинкой Клавдий Иванович обогнул остатки старой конюшни, прорысил мимо зернотока, и вот он, белокаменный домина на отшибе, который давеча из автобуса он принял было за новую больницу.

Место Клавдию Ивановичу было хорошо знакомо. Тут раньше был баринов сад, дремучие заросли черемухи и рябины, и осенью они, школьники, бегали сюда каждую перемену – невпроворот было сладкой да кислой ягоды.

Сейчас от старого сада остались разве старые развесистые березы, да и те были на задах, а спереди дома ни единого деревца, и голые окна ярко, как прожектора, полыхали на солнце.

Клавдий Иванович прикрыл ладонью глаза, бегло скользнул взглядом по машинам (на виду, под самыми окошками, и трактор, и грузовик) и просто ахнул, когда увидел въездные ворота слева – высокие, окованные, выкрашенные зеленой краской, с козырьком.

Да неужели это он все сам сделал? Когда же у него прорезались такие таланты? Отец Гехи, Матюга-бык, был лодырь, каких свет не сидал. Слыхано ли, к примеру, чтобы в деревне, где лес тебе на каждом шагу на пятки наступает, без дров жить? А Быки жили. И Клавдий Иванович, хоть и совсем сопленосым ребятенком до войны был, а запомнил, как Маша-ягодка, мать Гехи, однажды утром приперлась к ним со слезной мольбой: дайте охапку дров – печь затопить нечем, ребята замерзают.

Геха по части лени, может, и уступал сколько-то отцу, но по части упрямства наверняка обскакал родителя. После войны, бывало, бригадир чем-либо не угодит – и день, и два, и три дома лежит. Ничем не своротишь. Ни уговорами, ни силой. Да по силе ему из молодняка и равных в Мамонихе не было. Как только встал на ноги, так и начал гвоздить сверстников направо и налево: неси пирога, неси яиц, ежели жить хочешь. А с годами он и вовсе обнаглел – даже со старух подать взыскивал. Закатится это середь бела дня в избу, сядет к столу: «Екимовна, у тебя морковка ничего растет?» – «Ничего чур быть». – «Ну дак нынешней ночью ребята вытопчут». – «Да пошто вытопчут-то? Што я им худого исделала?» – «А уж не знаю чего. Только разговор такой был. А ежели не хочешь, чтобы вытоптали, неси крынку молока. Я покараулю».

И Екимовна – что делать – несла.

Хозяин выскочил из дома, когда Клавдий Иванович еще и близко к дому не подошел: пес залаял. Выскочил, крикнул черно-белому, чуть ли не с теленка кобелю: брысь, сатана! – и пошел навстречу, широко, на целую сажень раскинув руки.

– Клавдюха, да неужто ты? А я гляжу из своего овииа, – вялый, с напускной пренебрежительностью кивок на дом, – кто бы это, думаю? Идет и во все глаза глядит на мой сарай. А потом: да ведь это же из Мамонихи, нашенский – вишь, уши красные, и оба с дыркой.

Тут Геха хохотнул – целая пасть желтых, прокуренных зубов, один крепче другого, взыграла на солнце:

– Ну, ну, здорово! Поминала тут как-то Грунька: гостей жду...

На мгновение у Клавдия Ивановича перехватило дух – по-медвежьн, обеими руками, облапил, приподнял над землей.

– Так, так, приехал, значит? Это ж сколько же лет ты не заглядывал в родные края? Ну и сердце у тебя... А я слабак, слабак! Я три года отмолотил в Германни и шабаш. Никакого города-разгорода не надо. Домой! Ко своим куликам на болото. А ты, поди, там, в южных краях, как на курорте живешь? Груши, виноград, всякая разлюли-малина... Так? Самим немцам перо в мягкое место вставил? А?

– Виноград у нас не растет. Да и вообще... – Клавдий Иванович махнул рукой. – Какой там курорт, когда цементный завод под боком! Огородишко, и тот еле-еле дышит...

– Да ну! – страшно удивился Геха и тотчас же самодовольно заулыбался. – Тады, – он явно косноязычно, – пойдём, ежели не возражаешь, на мою бедность глянем. Взбрякала железная щеколда – Геха пропустил вперед гостя. И тут новая собака, точно такой же масти, как первая, гремя цепью, кинулась на Клавдия Ивановича. Геха пинком отбросил ее в сторону.

– Сволочь! Нашла время усердие показывать! Не видишь – с хозяином?

– Сколько же их у тебя? – спросил Клавдий Иванович, когда немного пришел в себя.

– Собак-то? Три. Есть еще одна для охоты. Балуюсь иной раз. А это так, для бреха.

Клавдий Иванович кивнул на дырявую алюминиевую миску, в которой валялись остатки собачьей еды – две старых картофелины, нечищенных, без всякой приправы.

– Она от голоду у тебя на людей кидается. Неужели ты ее одной картошкой старой кормишь?

– Голова! Накорми ее не старой-то, она лежать будет. А мне надо, чтобы она волком голодным рыскала. Чтобы ни один воруга сюда не сунулся. Усек? – И тут Геха горделивым, хозяйским движением руки описал перед собой широкое полукружье.

Клавдий Иванович ахнул. Сад! Да еще и сад-то какой! Яблони, груши, сливы, кустарники со всякой ягодой...

– Тянемся помаленьку! – сказал Геха. – Так сказать, наглядный пример по сравнению с довоенным. У барина тут что было? Одна ерундистика. Так? А климат, между прочим, позволяет. Я в Прибалтике и Германии служил – не так, чтобы сто очков нам. Может, зима только помягче. Хорошо. Мы зимой шубы носим, а почему для яблони нельзя какую-нибудь лопотину обмозговать? Мало соломы да тряпья всякого? Геха не спеша водил его от одного плодового дерева к другому, показывал кусты крыжовника, черноплодки, малины, смородины, таскал по грядкам с клубникой, огурцами и помидорами, и Клавдий Иванович не мог скрыть своего восхищения. Везде, во всем образцовый порядок!

Ни единого сорняка, ни единого клочка пустующей земли.

Все разделано, разрисовано – руками, граблями, солнцем, известью – не сад, а картина.

Но самой большой гордостью хозяина была пасека – пятнадцать ульев в виде крохотных разноцветных домиков, расставленных на задах сада вдоль высокого забора.

С довольной ухмылкой вслушиваясь в пчелиный гул, Геха заметил:

– Ничего поют, а? Ну, возни много. Особенно зимой. Но оправдывает. В цене у нас медок.

Клавдия Ивановича – он, задрав голову, вглядывался в буйно цветущие липы вдоль забора – вдруг озарила догадка.

– Так это ты специально и липы для пчел посадил?

– А – то! Барин тут, бывало, натыкал черемух да рябин, а какой в них толк? Ну, пахнут, ну мусорят. А мне надо, раз я скотинку с крылышками задумал, чтобы корм без рукой был. Но корм кормом, – сказал Геха и подмигнул, – а я еще одну нагрузку для липы дал. В общем, как говорится, сразу два хомута надел.

– Два хомута? – переспросил Клавдий Иванович.

– А как же! В этом-то вся и штука. Так сказать, рационализация по первому классу. – Геха подвел его к ближайшей липе. – Пчелок она кормит, это ты усек – так? А кто же забор держит?

Да, да, да! Высоченный забор из островерхих досок, обвитых колючей проволокой, держался на стволах лип и тополей. В общем, такого живого забора Клавдий Иванович еще в жизни своей не видал, и от удивления он только головой покачивал. Геха торжествовал:

– Одобряешь, значит, мое рацпредложение? Подходяще? Ха-ха! Помнишь, у нас, бывало, Оська-копыто все хотел медведя с коровой случить. Чтобы зимой, значит, без корма скотина жила? Ну дак я по его стопам пошел.

Хорошо было в саду! Пятнистая тень, солнце и воздух – не надышишься. Но пора было подумать и о деле.

Куда там! Геха и слышать не хотел ни о каких делах.

Столько-то лет не виделись, да что он, турок какой, чтобы своего земляка да еще кореша так отпустить из дома!

Одним словом, пошли в дом. И тут новый начался смотр. Просторная веранда с крашеным полом, вместительные сени с кладовкой, прихожая, кухня, передние комнаты...

Хоромы барина, стоявшие на этом месте, сожгли местные сопливые революционеры еще в гражданскую войну, задолго до появления на свет Клавдия Ивановича, но были ли они лучше и богаче Гехино дома – это еще вопрос. По крайней мере Клавдий Иванович в этом не был уверен.

– Я, – высказался сам Геха по этому поводу, – решил крест на дереве поставить. А что? У немцев вон все дома каменные, а мы, победители, в каких-то деревянных хлевушках живем. Нет, пора кончать с деревянной Русью – правильно я говорю?

– Правильно-то правильно, – сказал Клавдий Иванович, – да ведь кирпич-то каких денег стоит. Да и где он у нас?

– А это уж поворачиваться надо. Будешь поворачиваться, и кирпич будет. И копейка не из кармана, а в карман покатится.

Хозяйка, не в пример мужу, худющая, неразговорчивая, с каким-то постным лицом, тем временем схлопотала закусить, и Клавдий Иванович, как только пропустили по стопке, опять заговорил о своем деле, то есть о машине.

На этот раз Геха выслушал его до конца.

– Нет, – коротко качнул головой, – сегодня не могу. Сегодня ко мне из района начальство обещалось приехать, а может, еще и из области кое-кто будет. На рыбалку везти надо. А вот завтра-послезавтра – в любое время. Да чего ты в эту дыру рвешься? Погости у нас. Ежели у тетки не нравится, давай ко мне. По-моему, у меня жилплощадь позволяет, а?

– Первую ночь хочу в отцовском доме ночевать.

Геха снисходительно улыбнулся.

– Эх ты, голова два уха! Ничему, вижу, жизнь не научила. Ну-ну, валяй! Комары там давно скучают по тебе.

Клавдий Иванович надумал добираться своим ходом.

Для вещишек у тетки в сарае нашлась старая двухколесная тележка, на каких еще в его времена колхозники возили для себя дрова, сено и всякую всячину. А сами они разве без ног? Да это же одно удовольствие пробежаться по лесу в такую сушь, как нынешняя!

Правда, Полина, когда он заговорил об этом, взвилась было на дыбы. Как! Мало они натерпелись за эти дни, так еще по лесам, по болотам пробежки делать! Да пропади пропадом и вся ваша Мамониha, коли на то пошло!

Но тетка быстро вразумила ее.

– Я не знаю, Полина Фомишна, – сказала строго и чинно тетка, – может, в ваших местах и принято на мужиках ездить, а у нас уж ты, матушка, потерпи. У нас, у Сытиных, мужик всему голова. И ты ежели не ради самого мужа, дак ради людей не срами его. Приехал из-за тридевяти земель и на-ко – семь верст до родительского дому не дошел. Да что люди-то скажут?

И вот выступили в поход. Полина и Виктор, понятно, налегке, а он с тележкой. Легко впрягся, даже с каким-то интересом. Ну-ко вспомним старые времена. Бывало, лошади в колхозе не допросишься, по месяцам ходишь в оглоблях.

Но Полину именно тележка-то пуще всего и выводила из себя. Потому что какой же порядочный человек впряжется сегодня в колымагу! Да будь с ними Никодим, они бы не просто на машине ехали, а еще бы и с почетом – в сопровождении самого директора совхоза, а то и покрупнее шишки.

Клавдий Иванович из кожи лез, чтобы хоть немного развеселить жену. Он то и дело кивал на залитый солнцем сосняк, которым шла дорога («Смотрите, смотрите! Как в кино красота!»), рассказывал о том, как бегал по этой дороге, когда учился в резановской семилетке, соблазнял жену и сына земляникой («Ну-ко, подайтесь немножко в сторону! Разве не чувствуете, как пахнет?») – все бесполезно. Полина шагала впереди, ни разу не обернувшись к нему, красивая, полнотелая, рыжие волосы вразброс по широкой, с желобом спине, а Виктор, тот, похоже, совсем раскис. Десять лет парню, собачонкой бы надо бегать да виться вокруг, а он – пых-пых. Употел, ужарел – хуже старика. А все мамочкины пончики. Сколько раз он говорил: нельзя закармливать ребенка. В школе ест, дома ест, к матери в садик придет – ест, вот его и развезло...

По сторонам стали попадаться первые ели и березы, первые комарики заныли над головой – приближались сырые места.

– Тут маленько дорога помягче будет, – предупредил Клавдий Иванович, – но это ничего, сухо сей год.

Молча, как неживые, перевалили за Тошкин холм, где когда-то зимой, по рассказам, замерз пьяный мужик из Мамониhi, и уперлись в густой темный ельник.

Полина и Виктор остановились как вкопанные.

– Ну чего там еще? – бодрым голосом крикнул шагнувший сзади Клавдий Иванович. – Медведя увидели?

Он с удовольствием выпустил из горевших ладоней рукоятки тележки и, на ходу заправляя рукой потные, растрепавшиеся волосы, подошел к жене и сыну.

Грязь. Черная, крутая, как вар, – во всю дорогу.

– Теперь ты понял, почему у твоей сестрицы срочно заболел ребенок, а брата твоего в срочную командировку угнали?

Клавдий Иванович, избегая сердитого взгляда жены, виновато сказал:

– Раньше тут в это время никакой грязи не было. Это, вишь, трактор дорогу размял.

– Спасибо, утешил! – фыркнула Полина и начала снимать туфли.

Виктор захныкал:

– Мам, неужели туда пойдем?

– Эх ты, герой! Да тут и грязи-то с гулькин нос, а ежели обочиной, то как по асфальту. Смотри ведь, какая сушина.

Все это, понятно, Клавдий Иванович говорил не столько для сына, сколько для жены, но разве Полина когда слушала его?

Туфли в руку и прямо в грязь.

– Ма-ма-а! – заорал на весь лес Виктор.

А мама – знать никого не хочу! – хлоп-хлоп по середке дороги. Как перегруженная лошадь. В теле баба.

И в конце концов Клавдий Иванович подхватил на руки орущего, насмерть перепуганного сына, перенес его по боковой тропке за грязь (сухо было, как он и думал, даже туфель не замочил), а потом перетасил вещички, переволок тележку. Дорога, слава богу, опять мало-помалу наладилась, начались пахучие воронихинские папоротники, а затем и сам Воронихин ручей голос подал. Как журавлик весенний

прокурлыкал – радостно, взалхлеб: узнал, наведено.

На зеленом, ласковом бережку они сели передохнуть – тут исстари все, кто идет из Резанова, отдыхают. Напились, умылись, обмыли ноги. Полина и Виктор даже с едой разобрались. А ему не шла на ум никакая еда. Он как услышал этот с детства знакомый говор ручья, так больше и думать ни о чем не мог.

«Домой, домой!» – выговаривал ручей, и в конце концов Клавдий Иванович не выдержал, вскочил на ноги.

– Вы не торопитесь. Идите потихоньку – тут рядом Мамониha, а я покамест разведку боем сделаю.

И вот – неслыханное дело – бросил посреди незнакомого леса жену с сыном, а сам вперед, вперед. Как мальчишка, как самый распоследний дурак.

Опомнился, когда вкатился в первые поля Мамониha, а вернее, в осинник.

Да, лежат на земле остатки въездных ворот, ходят, как прежде, высоко в небе во все крыло распластанные ястребы, а где поля, где пашни, которые он когда-то пахал и боронил?

Полей нет. На полях шумит и лопочет густо разросшийся осинник.

У Сытиных был заведен обычай: родился в семье ребенок – сажай дерево под окошками.

Так в разное время были посажены кедр Никодим, березка Татьяна, рябина Марья, черемуха Анна (последние обе умерли в детстве) и только оскребышок, то есть Клавдий Иванович, остался без зеленой отметины на земле. Потому что он появился на свет в тридцать третьем году, когда люди умирали с голоду, и до игры ли, до забавы ли было отцу?

Упущение хозяина исправила мать, когда Клавдий Иванович был уже в армии.

Незадолго до своей смерти мать написала ему, что у него теперь тоже есть свое дерево возле родительского дома – тополек.

И вот первое, что увидел сейчас Клавдий Иванович, подходя к родному дому, был тот самый тополек. Вымахал, разросся, всех задавил: и кедр, и березу, и рябину, и черемуху. Просто зеленый богатырь над домом – рокотом, тополиной песней встретил их.

Зато уж сам дом не сразу и признаешь. Боковой избы, в которой зимой жили, когда морозили тараканов, нет, хлев и сарай порушены, крыша с крыльца сорвана. А что делалось внутри дома! Он думал, ради красного словца давеча шерстила тетка пастухов. Нет, правда: черное огневище посреди избы. Не поленились – кирпичи притащили с улицы, на полу ечаг выложили. Потому что в печи-то дрова запалить и дурак сумеет, а ты вот догадайся без печи избу вытопить!

Мать, бывало, в самые трудные времена, когда с голоду пухли, выгребала на каждую пасху грязь из избы.

Надраит, наскоблит сосновый потолок и сосновые стены – в самую непогодь в избе солнце. А сейчас изба как черная баня: все просмолено, все в черной саже.

Несколько привлекательнее выглядела другая половина. Тут уцелели старинная никелированная кровать, на которой спал еще дед Артемий, стол, и еще сразу бросилось Клавдию Ивановичу в глаза железное кольцо в потолке. Кольцо, в котором висел березовый очеп с его зыбкой.

– Вот как отец-то у тебя, Виктор, рос... В зыбке качался... – начал было объяснять Клавдий Иванович сыну и вдруг всхлипнул.

Полина рассудительно заметила:

– Может, сперва делом займемся, а потом про зыбки-то рассказывать.

Да, да, да, спохватился Клавдий Иванович. Дел у них невпроворот. Четыре часа пополудни, а сколько им надо перелопатить всякой всячины!

Перво-наперво выгребли самую большую грязь из избы да затопили печи – веселее, даже в жару веселее, когда жильем в доме пахнет. Потом Клавдий Иванович принес от зарода (рядом, за домом стоял) охапку сена. Для постелей. Сено свеженькое, душистое, нынешнего укуса – эх, хорошо будет спать!

– Не носи покуда в дом-то, – встретила его у крыльца жена. С ведром в руке (где только и раздобыла), с подоткнутым подолом.

– Да ты никак полы мыть надумала?

– А то. Неуж в грязи будем жить? – И пошагала к колодцу.

Колодец у них был с журавлем, про какие в Полининых степных краях и слухом не слышали, и Клавдий Иванович крикнул:

– Подожди, я помогу!

Но Полина и не подумала ждать его. С ходу обеими руками ухватила за шест и давай, и давай загружать деревянное ведро.

– А мне что делать? – весело, с задором крикнул Клавдий Иванович. Крикнул только для того, чтобы поскорее в семье водворилось окончательное согласие.

– А ты траву выкоси! – миролюбиво сказала Полина.

– Есть траву выкосить!

Клавдий Иванович схватил стоявшую возле крыльца еще давеча отысканную на повети

и наточенную старую косу и пошел гвоздить направо и налево. На траву не смотрел (сроду в ладах с крестьянской работой) и на Виктора, захныкавшего где-то сзади, не обращал внимания. Равнение только на жену! У Клавдия Ивановича на работе – а он пятнадцать лет без мала бригадирил в теплично-овощном хозяйстве завода – частенько заходили разговоры: надоела старая заигранная пластинка, хорошо бы вспомнить молодость, приударить за свеженькой. И ударяли. После выходного то один, то другой, то третий хвастался своими встречами на стороне.

Клавдий Иванович этого не понимал. Для него в жизни не было большей радости, чем видеть свою жену, смотреть, как она управляется с домашними делами: варит, стряпает, моет полы, шьет, а когда он, вернувшись домой позже обычного, заставлял ее в постели – румяную, разогретую, с рыжими распущенными по белоснежной подушке волосами, он просто возносился на небеса.

В дом Полины он попал вместе со своим сослуживцем Борисом Огаревым, и, помнится, когда они первый раз оказались у нее в комнате – чистой, светлой, с цветами, с белой, как рождественский сугроб, кроватью, над которой висел вышитый коврик – олениха с олененком, – у него захватило дух: ничего в жизни краше не видел. И уж, само собой, насчет молодой хозяйки он никаких планов не строил. Куда там – такая красавица! Да и у Бориса губа не дура – сразу стал чертом увиваться. А что он перед Борисом? Мешок с картошкой, цыпленок против орла!

Нет, нет, он уж и тем доволен был, что в те нечастые дни, когда получал увольнительную, мог заходить в этот дом, посидеть в этом раю.

Правда, сидел-то он немного. Борис каждый раз еще дорогой предупреждал его: «Создай мне обстановочку».

То есть поменьше торчи возле них с Полиной. А потом, ему и самому как-то неловко было сидеть без дела. Мать у Полины больна, брат да сестра малые, сама Полина на части разрывается, чтобы заработать лишнюю копейку, – всегда с шитьем, всегда с вязаньем, а ведь было еще хозяйство: огородишко, поросенок, куры, дрова. И вот у них с Борисом быстро распределились обязанности: Борис с Полиной в комнате – развлекает ее, зубы заговаривает, а он, Клавдий Иванович, то с дровами возится, то в огородишке копается, то хлев для поросенка ладит, то еще что. И Полину он обычно только и видел, когда заглядывал в дом перед уходом, да еще когда она выходила к нему, чтобы взглянуть на его работу.

Однажды, примерно за месяц до демобилизации, Борис сказал Клавдию Ивановичу: – Поработай сегодня над своим видиком. Я Полину на абордаж брать буду.

Ну что ж, подумал Клавдий Иванович, так оно и должно было все кончиться – ихней свадьбой. Ведь это же круглым идиотом быть надо, чтобы упустить такую девку!

Пошли. Взяли две бутылки вина (одну даже шампанского), торт, цветы.

Борис, едва зашли в дом, с ходу: так и так, мол, дорогая Полина, один хомут скоро сымаю, хочу надеть другой, то есть выходи за меня замуж.

Полина на это усмехнулась, потом вдруг вся посерьезнела и покачала головой: – Нет, Борис, за тебя замуж не пойду, а вот за Клавдия пошла бы.

Свадьба была скромная, тихая. Брат Никодим и сестра Татьяна не приехали, а родственникам Полины Клавдий Иванович не понравился. И он понимал почему: больно уж жалок, больно уж невзрачен был он в своей новой, не по росту длинной солдатской гимнастерке по сравнению с пышной, как яблоня в цвету, красавицей невестой.

Полина под конец, видно, тоже одумалась и, когда они остались вдвоем, разревелась навзрыд. И это была самая ужасная минута в его жизни. За все без мала сорок лет.

Быстро, за каких-нибудь три часа привели дом в божеский вид. Во всяком случае, на первое время было где прислонить голову, укрыться от дождя и от комаров.

А это – главное. Все остальное образуется постепенно.

Довольные, счастливые (даже Виктор перестал скулить), Сытины сели за свой первый ужин в Мамонихе.

– Ну как, Виктор, – пошутил Клавдий Иванович, – хорошо ест тот, кто хорошо поработает?

– Ага, – ответил Виктор, с аппетитом, за обе щеки уминая свежий огурец – из тех, что дала тетка Груня.

Сам Клавдий Иванович тоже ел с удовольствием, но в мыслях, давно уже был на деревне (это ведь бог знает что – сколько уже часов на мамониховской земле, а в самой Мамонихе еще и не был) и в конце концов вскочил, даже не допив стакана чая.

– Вы как хотите, а я больше не могу. Должен пробежаться по деревне.

Виктор, к немалому удивлению его, тоже увязался за отцом.

Усадьба Сытиных стояла на отшибе, и на деревню раньше вела торная, хорошо наезженная дорога. А сейчас Клавдий Иванович сунулся туда-сюда – нет дороги.

Повсюду какая-то реденькая, худосочная ржица вперемежку с жирным, уже остаревшим пыреем. «Наверно, тут поле раньше было, а это самосев», подумал Клавдий Иванович и побрел напрямик к первому дому.

Первый дом принадлежал Павлу Васильевичу, Лидиному отцу, и Клавдий Иванович, как только увидел старинные двухэтажные хоромы с белыми кружевными наличниками, слегка подрумяненными вечерним солнцем, так сразу и забарахтался в заводях прошлого. Все вспомнил. Вспомнил, как в детстве они с Лидой наперегонки – зимой, босиком – бегали друг к другу в гости, вспомнил, как позднее он был влюблен в Лиду и как Лида зло высмеивала его в частушках...

После войны всех парней из Мамониha взяли в армию – кривых, косоглазых, беспалых, кого не в строевые войска, так в железнодорожные, в стройбаты, а его забраковали. Недомерок. Ростом не вышел.

И Лида первая запела:

Ой, ребята-кавалеры, Отодвиньтесь от нас: Мой миленок всех пониже, Мне не видно из-за вас. А как потешалась, как издевалась та же Лида над ним, когда его отправили на откормочный пункт! Были такие после войны для призывников. Специально ставили на откорм тех, кого особенно ушибла война, кто не вышел телом. Подобно тому как в колхозах ставили на откорм телят, которых нужно было сдать в госзакуп.

Но дело, конечно, не в унижениях, не в позоре, который он пережил тогда, – все это теперь в прошлом. А что стало с Лидой? Где она сейчас? Как сложилась ее жизнь?

Ведь та же самая Лида, когда он уже кончал службу в армии и был женихом Полины, какое письмо прислала ему?

«Клавдя, я до края больше дожила в этой Мамониhe, скоро весь свет белый проклянну. А у тебя паспорт теперь будет, вывези меня, бога ради, отсюда – хоть женой, хоть как – я на все согласна».

Дом Павла Васильевича был еще сносный, вполне годявый для житья, но что поразило Клавдия Ивановича?

Незаколоченные окошки с выбитыми стеклами. И он живо представил себе, как уезжала Лида из родного дома. До того, видно, все опостылело, все обрыдло, что даже окон не заколотила.

– Пап, – тихо и оробело заговорил Виктор (должно быть, и ему не по себе стало при виде пустых, черных глазниц), а чего это растет? – Он указал на крапиву, которая высокой стеной, как ельник, окружала крыльцо.

– Крапива.

– А у нас дома не такая.

– Поменьше, хочешь сказать? Так ведь эта крапива, знаешь, что тут делает? Вход в дом злым людям преграждает.

– Да? – Виктор внимательно посмотрел на отца и взял его за руку.

С этой минуты они так – рука в руке – и шли по мертвой Мамониhe. Шли вдоль домов высокой, слегка выброшенной и присохшей травой.

И молчали. Негоже болтать на кладбище (это, видно, понимал даже Виктор), а нынешняя Мамониha похожа была на кладбище.

И даже тополя вверху над крышами, многие почему-то с посохшими верхушками, пели как-то скорбно и заунывно, совсем-совсем не в духе этого жизнерадостного, жизнелюбивого дерева.

Хуже подворья, чем у Сохи-горбуньи, в Мамониhe не было. Избушечка на задах, со всех сторон подперта подпорами, околени допотопные, в аршин, да и те вкось, а по нынешним временам, когда все кругом порушено да задичало, и Сохина развалюха – жилье.

К ней приятно было подходить. Тропка с обеих сторон обкошена, заулок тоже начисто выкошен, и столько на лужайке возле ветхого, но чистенького крылечка кипело всякой пернатой мелочи, что ветер заходил вокруг, когда она тучей взмыла вверх.

Клавдий Иванович не очень верил во всякие рассказы насчет Сохи-горбуньи, но, берясь за скобу, все-таки подбодрил себя шуткой:

– Ну, Виктор, не робей! Сейчас саму Бабу Ягу увидишь.

Натужно прошаркала по старым половицам одна осевшая дверь, прошаркала другая, а дальше все было как в сказке: старуха горбатая, кот, курочка-ряба с выводком желтых попискивающих цыпляток...

– Ну, спасибо, спасибо, Клавдий Иванович, что зашел... А я гляжу, дымок у Ивана Артемьевича над крышей закурился – кого бог дал...

Клавдий Иванович обнял старуху, прослезился, а Виктор, тот вдруг выпалил:

– Здравствуй, Бабушка Яга!

Клавдия Ивановича в пот бросило от такой бойкости сына, но баба Соха – так по-новому окрестил для себя старуху Клавдий Иванович – и не думала обижаться.

– Яга, Яга, милый. Как не Яга. Хромая, горбатая, бывалошная, вся мохом обросла.



Так, так, родимушко.

– А колдовать вы тоже умеете, бабушка? – еще больше осмелев, спросил Виктор.

– А вот насчет колдованья-то, дитятко, я неважная Баба Яга. Кабы колдованье да знахарство ведала, я бы что первым делом сделала? А ногу да горб себе вылечила, а то вишь вот, всю жизнь на одной ноге скачу да людей пугаю...

Баба Соха жила по старинке и начала с угощенья.

Все выставила на стол, чем богата была: свежепросольные рыжики, маленькие, копеечные, какими всегда славилась Мамониha, спелую, красную землянику (полнехоньку крынку!), северную мед-янтарную морошку...

У Виктора при виде этой свежей, благоухающей лесовины просто ноздри заходили, да и Клавдий Иванович не стал отказываться: сколько уж лет ничего этого не было во рту.

– Ну вот, – сказала довольная баба Соха, когда они все зачистили до последней ягодки, до последнего грибка, – теперь можно и гостей пытаться-спрашивать.

– Можно, можно, баба Соха. Приехали вот навестить родные Палестины.

– Ну, узнал вотчину, узнал Мамониху?

– Да как тебе и сказать... От старого-то разве что один ястреб в небе остался... Все заросло, все задичало.

– Все, – кивнула старуха. – Береза да осина разбойничают – на крыши уж лезут. Поминать, видно, деда Прокопья. Тот, бывало, когда деревню после пожара заново отстраивали, все говорил: «Зря, мужики, надрываетесь. Не жить Мамонихе. Не от огня, дак от куста погибнет».

– Так и говорил?

– Так.

– А я вот что заметил: возле иных домов тополя сохнут.

– Сохнут, – опять кивнула старуха.

– А чего им надо?

– Тополям-то? А кто их знает чего. Может, по хозяевам своим тоскуют, которые их сажали.

– Это деревья-то тоскуют?

С улицы донесся крик – не иначе как там Виктор гонял птичек, но Клавдий Иванович даже в окошко не посмотрел. Пускай забавляется. Чего ему томиться в духоте.

И он, осторожно пошевелив ногами, которые щекотно поклевывали попискивающие цыплятки, опять подался глазами к бабе Сохе.

– А ты-то как тут? Все одна да одна...

– А что поделаешь, Клавдий Иванович? Так уж мне на роду написано. Тяжело, тяжело зимой-то. Снегом занесет, засыплет с окошками – не знаешь, что и на свете деется, – не то ночь, не то день. По неделям из избы не выходишь. Тут который год снежно было, пенсию из сельсовета принесли, двадцать рублей дадено, и попасть ко мне не могли. Так и ушли обратно. Ну, а ты-то как, Клавдий Иванович? В теплых краях, говорят, живешь – поди и насчет дровец стараться не надо?

– Не надо. Углем топим. Каменным.

– А-а, вишь как ты устроился. На городах, значит. Все ноне перемешалось. Не поймешь, куда утка, куда селезень. Бывало, у меня брат-покойничек в Ярославле жил – уж на что при деле при хорошем был. Старший приказчик у купцов Красулиных. Нет, прощай золото-серебро, прощай хоромы каменные – в Мамониху, в леса родные поеду. А нонека все на сторону, все в города думают попасть. Где посылнее да повольготнее. Не видал там, на городах-то, Лидию Павловну?

– Это ты про Лиду Павла Васильевича? – живо переспросил Клавдий Иванович.

– Про Лиду. Про соседку твою. Тоже в ту сторону подалась за счастьем. Не знаю, чего у ей получилось, нет.

– А чего не получилось-то? У людей получается, а у ее нет?..

– Да ведь она с кем в город-то уехала? С котей Курой.

– С котей? Это с печником-то, который в районе печи клал?

– С ним. Пьяница забубенный, чуть не в два раза старше ей...

– Да что она, с ума спятила?

– А от ейной жизни, пожалуй, спятишь. Сперва мать разбило параличом, а потом тетку. Тетку за матерью-то ухаживать привезла из района, а тетка – подумай – до полугода не выстояла на ногах, тоже бок отнялся, тоже колодой слегла. И вот девка-то у меня взвыла. Все бегут, уезжают из Мамониhi, а она как привязанная. У ей колхозны телята на руках – целый двор, дома – одна колода лежачая, другая... И вот, смотрю, у меня Лидия Павловна уж в бутылку заглядывать стала да курить почала, худым словом кидаться... Нет, нет, – вздохнула старуха, – я нисколешенько не сужу. Ну-ко, девять лет мучиться – не жить. Это в ее-то годы! Ну-ко, девять лет кажинный день из-под двух старух навоз выгребать. Да она до того, бедная, домаялась, что самой жизни не рада стала. Ко мне напоследок прибежала: «Баинька, – все меня баинькой звала, – баинька, говорит, я ведь с котей Курой в город собралась». Что ж, говорю, мать да тетку успокоила. Теперь сама знаешь, как

жить. А чего буду отговаривать? Двадцать девять лет девке – чего тут высидишь? Какой королевич к тебе залетит? Вот так и уехала у нас Лидия Павловна. «Мне, говорит, пачпорт бы только схлопотать, а там-то я знаю, что делать...» Не знаю, не знаю, как там ей теперь. Подфартило, нет на новых-то местах...

Клавдий Иванович вышел от бабы Сохи, когда уж догорал день. Красное, раскаленное солнце село в темный ельник за ихним домом, и казалось, там, в еловой чаще, затаилась сама сказочная жар-птица. Да тот ельник, бывало, так и звали у них: жаровец.

Клавдия Ивановича пошатывало. Он сам попросил у бабы Сохи какой-нибудь выпивки, потому что такая тоска вдруг навалилась на него, так жалко вдруг стало Лиду, что хоть криком кричи.

Лида Мамонова была у них первая красавица, первая ученица в школе. Евстолия Васильевна, старая учительница по математике, когда ставила им очередные двойки, вздыхала: «Что поделаешь, картошка глупее хлеба». То есть я не ругаю вас, ребята. Понимаю, из-за чего на ровном месте буксуют у вас мозги. Из-за того, что картошкой да травой питаетесь. И как радовалась, как молодела та же самая Евстолия Васильевна, когда дело доходило до Лиды! «Нет, нет, ребята, – говорила она, – у меня в классе такого умного и хлеба никогда не бывало, как эта картошка. Вот помяните мое слово: картошка эта прославит и себя, и всех нас». И вот прославилась... За Котю Куру вышла...

Клавдий Иванович не был виноват в Лидиной беде – ну что он мог поделать, когда уж был женихом Полины?

Ведь именно тогда пришло то страшное письмо от Лиды.

И все-таки, все-таки... может, и он виноват?..

Выйдя с задворок на деревню, он запел:

Бывало, вспашешь пашенку, лошадок уберешь, А сам тропой знакомою в заветный дом идешь... Хотелось песней, любимой песней отца встряхнуть себя, взбодрить свой дух перед встречей с женой, которую он оставил одну в чужом доме.

– Полинушка, Виктор! Вы не ругайте меня, ну? Я маленько нос прищемил... Понимаете, ха-ха?

Клавдий Иванович перевалил за порог избы, прошел на другую половину и в сумерках увидел жену и сына – как голубки в обнимку сидят на кровати.

От умиления его прошибло слезой:

– А я, ребятки, вам огонька принес от бабы Сохи. С огоньком-то повеселее будет, верно? – И он полез в карман за свечкой, которой разжился у старухи.

– Па-па-а...

В голосе Виктора Клавдию Ивановичу послышалась капризная плаксивость, и он тотчас же напустил на себя строгость:

– Сын! Будь настоящим человеком...

– Да помолчи ты, бога ради, со своим настоящим человеком! – вдруг расплакалась Полина. – Разве не чувствуешь, что с сыном-то делается?

И тут, словно в подтверждение слов матери, Виктор удушливо закашлял, натужно задышал.

Клавдий Иванович вмиг отрезвел. Неужели, неужели опять то же самое, что было три года назад? Три года назад летом они отдыхали в деревне, недалеко от ихнего поселка. Все было хорошо: купались, загорали, валялись на песке, на свеженькой травке, и вдруг раз вечером, дня за два до возвращения домой, с Виктором стало худо – просто на глазах стал задышаться ребенок. Они с Полиной перепугались насмерть, думали, им и до поликлиники его не довести. Но довели, отходили парня. А вот что это за болезнь была, отчего она – они так толком и не узнали...

– Чего стоишь-то, как пень? Ждать будешь, когда ребенок задохнется? Ходишь, ходишь по всяким колдуньям – может, она отравила его?

– Да не говори ты ничего-то, Поля. С чего баба-то Соха будет нас отравлять? Баба Соха огонька ему послала.

Клавдий Иванович зажег свечу, укрепил ее в стеклянной банке из-под компота.

– Ну вот так, так, сын. Со светом-то повеселее, а? Со светом-то, скажи, можно жить...

– Па-а-п-а-а...

Клавдий Иванович сунул банку со свечой на стол, выбежал на улицу. Он еще надеялся по-первости: какая-нибудь ерунда у Виктора, сама собой пройдет, но крик был такой хриплый, такой умоляющий, что сомнений больше не оставалось: прежнее удушье, то самое, что было тогда в деревне.

На улице меж тем густела темнота. Он кинулся бежать по дороге в Резаново, но вскоре одумался. Семь верст до Резанова – когда же он обернется? Да и что он найдет в Резанове? Одна бригада совхозная – в лучшем случае медсестра есть... Он решил бежать на станцию. До станции дальше, десять километров, но там наверняка найдется врач.

Солнце уже окончательно закатилось, туман легким парком расползлся по полям. Клавдий Иванович, путаясь в повлажневшей траве, пробежал ложбину, выбежал к дому Павла Васильевича и начал одолевать травяную реку, то есть деревенскую улицу. Трава на улице была в пояс – жирное тут место, но темные массы домов еще можно было различить, а за деревней темнота накрыла его, как мешком. И куда податься? Как тут идти на станцию?

Сперва он стучал в наружные двери – руками, ногами, поленом, потом начал стучать в окошко, которое с трудом, на ощупь отыскал в темноте, а потом уж стал просто умолять:

– Баба Соха, открой... Баба Соха, открой...

И вот только на слово отозвалась старуха.

– Баба Соха, баба Соха, помоги! С ребенком, с сыном худо...

– Да что с ним, с сыном-то?

– Не знаем. Второй раз уж так. Дышать не может... Задыхается... Пойдем скорее... – И Клавдий Иванович нетерпеливо схватил в темноте старуху за руку.

– Нет, нет, – сказала старуха. – Не помощница я. К врачам надоть.

Клавдий Иванович чуть не разрыдался.

– Да где они, врачи-то? На станцию бежать надо. А болезнь-то не ждет.

– Ну и от меня пользы не будет.

– Да почему? Раньше-то помогала. Я сам помню.

– То раньше. Раньше-то у меня сила была.

– Да ты понимаешь, нет, баба Соха? – уже криком закричал Клавдий Иванович. – Ребенок у нас задыхается. Понимаешь это?

И, не слушая больше старуху, он силой поволок ее за собой.

До деревни добрались легко: по дорожке. А дальше, когда кончилась дорожка, начали тыкаться в темноте, как слепые котята. Уверенность появилась лишь после того, как впереди из темноты вдруг подал голос его, Клавдия Ивановича, тополь – птичьей стаей взыграла взъерошенная ветром листва.

Полина пришла в ужас, когда на пороге увидела горбатую старуху.

– Не дам, не дам ребенка! – закричала дурным голосом. – Я куда посылала-то тебя? За врачом. А ты кого привел?

Но тут уж баба Соха сказала свое слово:

– Загунь! Не пугай ребенка-то.

А когда подошла к Виктору (тот тоже по-первости насмерть перепугался), заговорила ласково-ласково. Как летней водой начала окачивать.

– Не бойся, не бойся, золотко. Бабушка тебе здоровья принесла. Где у тебя болит-то? Горлышко... Дыханья нету... Будет, будет дыханье, родимый...

Слабо, как далекий вздох, как утренний ветерок в листве, прошелестели давно знакомые слова: «Стану я, раба божья...», и Клавдий Иванович подумал, может, и права была старуха, когда наотрез отказывалась идти к ним?

Может, и в самом деле из нее ушла сила? Но он в тот же миг подавил в себе эти сомнения, потому что кто еще, как не она, может сейчас помочь Виктору?

И удивительно: голос старухи тотчас же стал наливаться силой, и слова пошли такие, что в дрожь, в озноб стали кидать его:

– Исполохи, переполохи, порчи, уроки, всякие прикосы... Идите в пень, в коренье, в грязи топучи, в ключи кипучи... Там вам вариться, там вам кипятиться, под осиновый кол уйти, камнем накрыться, землей завалиться, мохом-травой зарости... Клавдий Иванович посмотрел на жену. Может, все это только ему кажется? Может, все это только далекие детские страхи, которые вдруг ожили в нем?

Нет, и Полина была во власти этих слов, во власти трубного голоса старухи. И она, как околдованная, не дыша, широко раскрытыми глазами глядела на нее.

Три раза читала баба Соха, три раза заклинала хворобы и боли, тихонько водя темной рукой по горлу и груди Виктора, и тот, похоже, уже не хрипел, не задыхался, как прежде.

– Пи-ить, – вдруг подал он слабый голос.

Клавдий Иванович бросился на другую половину за водой, но Полина еще раньше запаслась питьем.

Виктора напоили.

– А тепере, – сказала баба Соха, – ты, отец, выйди за дом, сруби осиновый кол с топориче длиной да тот кол забей в землю вместе с хворобами. Да чтобы тот кол никто никогда не вытащил.

Клавдий Иванович понимал, что тут уже начинается какая-то чертовщина, но что не сделаешь ради своего ребенка! Да и баба Соха – как с ней спорить? Все была ветошная, беспомощная старушонка и вдруг разрослась, расползлась по всей стене, как туча в бурю...

Он думал, в темноте ему во веки веков не выбраться за дом. Но выбрался. И даже в кустарнике, густо разросшемся за домом, отыскал осинку – по горьковатому запаху коры, по лакированным, вздрагивающим в темноте листьям. В общем, сделал все так,

как приказала старуха.

И вот награда, вот счастье: Виктор, когда он, весь перемокший, вошел в дом, был уже в безопасности. Он понял это, еще не видя его. Понял по лицу жены, такому счастливому и доброму, какое он, может быть, видел у нее только один раз в жизни – когда пришел в родильный дом поздравлять ее с долгожданным сыном.

\* \* \*

Старуха еле-еле, опираясь на батог и на Клавдия Ивановича, добрела до своего подворья, а на крыльцо и подняться не смогла – села.

– Ну, выручила, выручила ты нас, баба Соха. Спасибо! – Клавдий Иванович уже с короб наговорил этих спасибо старухе, а они так и набегали, так и набегали на язык. – А то ведь я давеча – хоть караул кричи. Виктор задыхается, врача нету, и ты уперлась – с места не сдвинешь.

– Не занимаюсь я ноне этими делами.

– И зря. У нас – три года назад вот так же случилось – врачи целую ночь возились с Виктором, а ты вон как: руками поводила, сказала слово, и здоров.

Клавдий Иванович по старинке, на всякий случай сплюнул за левое плечо и, уже совсем расчувствовавшись, сказал с легкой усмешкой:

– Давай, баба Соха, выкладывай свои диагнозы. Ну что за болезнь такая? Как ее вышибать? А то ведь эти ученые только руками разводят. Аллергия не аллергия, обмен веществ... Не поймешь.

Старуха вздохнула в темноте, но ничего не ответила.

– Чего молчишь? Я ведь тебя спрашиваю ради ребенка, а не ради того, чтобы у тебя секреты выуживать.

– А что я скажу тебе, Клавдий Иванович? Много ли я знаю? Молитва, да травка, да наговорное слово – вот и все мое лечение.

Старуха уклонялась от прямого разговора, это ему было ясно, и он начал подбираться издалека, с напуском эдакого туманна:

– А интересно, баба Соха, где это ты все вызнала? Ну это самое... руду-кровь заговаривать, переполохи снимать, присухи... У нас, к примеру, сейчас курсы разные, техникумы. На шоферов, на тех же самых фельдшеров. Так? А вот ты, к примеру? Где ты всю эту премудрость выучила?

– Меня, парень, нужда заставила. В жизнь-то меня выпихнули горбатой да хромой, отец пьяный еще ребенком на пол с рук уронил, а чем кормиться, чем от людей обороняться? Люди не любят уродов да калек. Одни ребятишки по глупости заклюют, камнем закидают. И вот сжалился надо мной, убогой, один добрый старик, Васей-килой звали.

– Это колдун-то который? – Клавдий Иванович с внезапной робостью посмотрел в темноту перед собой. Он не застал уже в живых Васю-килу, но в детстве для него ничего страшнее не было этого имени.

Баба Соха слегка оживилась:

– Я сама больше всех на свете его боялась. Раз хожу в лесу, ягоды собираю – только мне и жизни было, только мне и отрады, что в лесу, дерево да куст не изгиляются, – и вдруг из-за ели старик. Вася-кила. Весь белый, весь косматый, клюка в руке. Я так и села от страха. А он подошел ко мне да рукой по голове, как малого ребенка: «Что ты, говорит, глупенькая? Чего испугалась? Хочешь, говорит, чтобы тебя люди не обижали, надо, говорит, чтобы не ты людей боялась, а люди тебя. Страх людской, говорит, твой корм и оборона».

– Это как понять?

Старуха словно не расслышала его.

– Поучил меня маленько дед Василий, и слову наговорному поучил, и травкам. Знающий был человек. А теперь все боле. Нету силы. Из Мамонихи ушла сила, и из меня ушла.

– Как, как? Что ты сказала? Из Мамонихи ушла сила, и из тебя ушла?

– Так. Покуда Мамониха в силе была, и я в силе была. А как начали из Мамонихи кровь выпускать, так и я ни на что гожа не стала.

– Вот как! А я думал, это ты про старость говоришь. От старости силы не стало.

– Старость не радость, кто не знает, а не приведи бог видеть, как на твоих глазах родная деревня умирает. Сперва один дом пустеет, потом другой, потом третий... Да сами-то дома, еще бог с ними. А то ведь дом умирает, и хозяин иной раз умирает. Василия-то Егоровича помнишь?

– Это в верхнем-то конце который жил?

– В верхнем. Нету больше. В прошлом году приехал с женой, как ты, об эту пору. «Уж так хорошо, так хорошо живем! Свой дом, свой сад. Дети все ученые, большие деньги зарабатывают! Я, говорит, и жизни в Мамонихе не видал, только сейчас на старости лет и увидел». Ну лат, – но, две недели пожили, стали в дальнюю дорогу собираться, где-то далеко живут. Вот к воротам-то полевым вышли, за деревню,

Федор Абрамов Мамониha abramovfyodor.ru

Василий-то Егорович и говорит жене: «Марья, говорит, я ведь, говорит, вьюшку в трубе не закрыл». – «Ну и бог с ней, с вьюшкой-то, – говорит Марья. – Дом погибает, а ты о вьюшке думаешь». – «Нет, говорит, надо закрыть вьюшку». Убежал – полчаса нету, час нету.

Марья не знает, что и подумать. Пошла домой: где у меня мужик-то? А мужик-от у ей в избе висит.

– Повесился?

– Повесился.

– Да, – сказал Клавдий Иванович, – веселую ты сказку рассказала.

– За веселыми-то сказками нынче едут на сторону, а в нашей деревне какие теперь сказки? Деревни, парень, без сказок помирают. Это сказки-то сказывают да песни поют, когда строятся, когда жизнь заводят заново.

\* \* \*

Это было самое счастливое утро в его жизни. Проснулся, открыл глаза, а в потолке железное витое кольцо, в котором когда-то висел березовый очеп с его зыбкой. А когда встал да вышел на крыльцо – и того краше картина: жена. Развалилась, растеляшилась на красном одеяле посреди заулка – рыба белая играет на солнышке. А в небе прямо над Полиной коршун. Чертит и чертит круг за кругом – должно быть, тоже залюбовался.

– Виктор где? – весело крикнул Клавдий Иванович, сбегая с крыльца.

– Тут где-то был. – Полина нехотя оторвала от подушки рыжую голову с черными очками во все лицо, повела туда-сюда: – Виктор, Виктор...

– Я здесь, мам! Малину ем.

Виктор кричал на задах, в кустарнике, и Клавдий Иванович сиганул туда – напрямик, через дикие заросли собачьей дудки, буйно разросшейся на бывшем капустнике, – земля тут жирная, каждый год уваживали.

– Ну как, сынок? Здоров? Ничего не болит?

Виктор не ответил, а промышчал: ему было не до разговоров. Он, как медвежонок, дорвавшийся до лакомой ягоды, с треском, с жадностью раздвигал одну ветку за другой.

Клавдий Иванович рад был за сына, рад, что Виктор снова полон жизни, снова выказывает свой отменный аппетит. Только вот как привыкнуть ко всему этому – к этой малине, к этому ольшанику и осиннику за своим домом?

Ведь ничего этого двадцать лет назад и в помине не было.

И Клавдий Иванович, переводя взгляд с кустарника на родные хоромы, невесело подумал: пропал, пропал дом.

Ежели даже люди пощадят, лес задавит. Лес, который стеной со всех сторон наступает на Мамонику...

– Пап, пап! – Виктор подавал голос уже где-то у Вертушихи.

– Ну что еще?

– Иди, иди скорей! Я домик нашел.

– Какой домик?

Раздвигая руками не просохший еще от росы малинник, Клавдий Иванович вышел к речке и увидел сына возле их старой бани, черной, насквозь продымленной, с малюсеньким окошечком без рамки, с деревянным держакон в дверях вместо скобы.

– Да ты что, Виктор? Какой это домик? Это же баня!

– Баня?..

– Ну, сын! Ты, как иностранец, в отцовской деревне...

А в общем-то, что же удивляться? Откуда Виктору знать, что такое старая деревенская баня, когда он видит ее впервые?

Клавдий Иванович открыл перекосившиеся, на деревянной пяте дверцы (Ах, знакомая музыка! Коростели запели вокруг), заглянул в сенцы, заглянул в баню – все еще пахивало прежней горечью – и вдруг загорелся:

– А знаешь что, Виктор! Давай-ко мы с тобой раскочегарим эту старушку, а?

Быстро, как по щучьему веленью, появились дрова в каменке, взбурлила вода в котле – рядом речка.

– Сынок, ты тут хозяйничай, посматривай за всем, а я сбегаю в лес за свежим веником.

– А я тоже с тобой, папа.

– Нет, нет, я один. С тобой в другой раз. Обязательно пойдём.

Клавдий Иванович скатился по недавно натоптанной тропинке к Вертушихе, перешел ее вброд – невелика у них и река, в засушье ворона перебредет, не замочив крыла, – и в ёру, дремучие заросли ольшаника и осинника, первые леса своего детства, где в те далекие времена видимо-невидимо было всякой нечисти и чертовщины и где он ставил свои первые петли на зайцев.

Раньше у них березняк был далекомыко, за добрую версту ходили за вениками, а сейчас он из ёры вышел и жуть сколько этого ласкового куста все Поречье, все

покосы завалило. И вот Клавдий Иванович завязал с ходу два веника и куда побежал? Домой, восвояси? Вперед.

Рядом Пахомкова гарь – веселые, поросшие пружинистым вереском горюшки и веретейки, где когда-то еще ребенком собирал грибы да ягоды, – так неужели не посмотреть, что там сейчас деется, неужели не побывать?

А раз на Пахомковы горы поднялся (и так называли в Мамониhe это урочище), в Мамину зыбку – хочешь не хочешь – свалишься. Эдакая лесная перина из зеленого моха в котловине – да тут держать не удержать! А за Маминою зыбкой вынырнула Антохина раскопка – тоже есть чем вспомнить, хороший хлеб родился! А за Антохиной раскопкой Вырвей, лесной ручей песни распевает, а Вырвей перешел – сразу три дороги, три росстани. Как в сказке. Не знаешь, по какой и идти. И вот так скок-поскок – где дорожкой, как в старину, кипящей трудолюбивыми мурашами, где травой, где моховиной – Клавдий Иванович и утянулся в глуби мамонихинские.

Все заросло кустом, все задичало, от прежнего, иной раз казалось, только и остались разве что имена да названия. Зато какие имена, какие названия! Для каждого бугорка, для каждого перелеска и тропки у стариков нашлось свое имя, свое название. Любили люди свою землю, свои родные места. Пахомкова гарь, Мамина зыбка, Поречье, Антохины раскопки – вкусно выговорить!

А нынче? Ихний поселок, к примеру, взять. Не последний населенный пункт в стране, в города скоро, говорят, выйдет, а что за народ живет? Три озера в окрестностях, три озера, в которых худо-бедно рыбу удят, а как зовут эти озера? Карьер № 1, карьер № 2, карьер № 3. По тем временам еще, когда тут песок да щебенку для цемента добывали. И так же с дорогами. Асфальтом залиты, яблонями обсажены, весной как невесты в белом цвету, а имен для них у людей не нашлось. Тоже по номерам зовут.

Пора, однако, было образумиться, повернуть назад – Виктор и так заждался его. Клавдий Иванович свернул направо, к Михееву усю – то же расстояние, да зато новые места. И вот эта-то жадность его и подвела.

Посекло Михеев ус. Где видно тропинку, нащупаешь ногами, а где начисто затянуло мхом, кустарником. А потом еще одна напасть вскоре объявилась – пошли Гехины дороги; широкие просеки, проложенные трактором посреди леса.

Клавдий Иванович запрыгал, как козел, от одной колеи к другой, начал тыкаться туда-сюда, и кончилось тем, что заблудился...

\* \* \*

Матюниha была рядом. Он это знал, чувствовал – не мог же за какие-то двадцать-тридцать минут укатить бог знает куда, да и места вокруг вроде знакомы были. А на тропу не попасть – моховина, болото, травники. И ели такие густые да высоченные, будто тут уже сумерки.

Его разобрал смех: надо же, в трех елях запутался, а с другой стороны и беспокойство мало-помалу стало закрадываться в душу. Что там с Виктором? Догадается ли Полина проведать его?

Наконец какая-то твердь появилась под ногами, а потом и еще один компас – просветы меж деревьев.

Клавдий Иванович рванул на эти просветы, и вот тебе на – Поречье. Мыкался, путался в траве, обливался потом, и все это, как он и думал, рядом с Поречьем, рядом с Мамонихой. В прежние времена непременно сказали бы: нечистая сила закружила, а то еще бы и бабу Соху приплели. А теперь кого винить?

С деревни в это время докатился какой-то непонятный треск и гул, похожий на шум работающего мотора.

«Кто-то из Резанова, верно, приехал», – подумал Клавдий Иванович и прямо травяной целиной порыснул к знакомой сухой березе, которая стояла неподалеку от Вертушихи, напротив ихнего дома.

Однако не успел он и десяти шагов сделать, как страшный грохот сотряс землю.

Перепуганный насмерть («Где Полина? Где Виктор?») Клавдий Иванович с ходу взял речушку, одним духом взлетел на крутой берег и просто ахнул: тополь, его тополь лежит на земле.

– Стой! Стой! – закричал он мужику, орудовавшему бензопилой в палисаднике.

Опоздал: кедр грохнулся на землю.

Вытирая со лба пот (с головы до ног взмок), он подошел к дому и кого же увидел? Геху-маза. Все деревья в палисаднике – тополь, черемуха, рябина, кедр – все лежат повержены, все распяты, а он стоит. Стоит, как заново выросшее дерево – огромный, в резиновых сапогах с длинными голенищами, натянутыми до пахов, и улыбается.

– Ты что это делаешь? Кто тебе разрешил?

– А чего я делаю? Свет людям дал. Я зашел в избу, как в могиле у вас.

Федор Абрамов Мамониha abramovfyodor.ru

– Это не твое дело! Дома хозяйничай. Виктор, – Клавдий Иванович только сейчас заметил в сторонке приунывшего сына, – а ты-то куда смотрел? Ведь я же тебе рассказывал, что это за деревья. Дядя Никодим, тетя Таня...

Виктор заплакал.

– Давай, давай, поплачьте оба вместе. Ах, бедненькие... Ах, кустиков жалко!.. – Геха захохотал.

– Да чего ты ржешь-то? Эти кустики-то, знаешь, кто сажил? Отец еще. До войны... – А теперь какая команда у нас насчет этих кустиков? Не знаешь?

– Будет, будет вам, петухи! – К ним подошла Полина. – Чего за кусты держаться, раз дом продаем? С собой не возьмем, хоть золотые бы они, эти кусты, были.

– Понял, как умные-то люди на это смотрят? – Ухмыляясь, Геха поднял с земли бензопилу, сказал, глядя веселыми глазами на Полину: – Может, еще чего сделать? Хочешь, Невский проспект проложу к Вертушихе? Чтобы по утрам, когда на водные процедуры пойдешь, не колоть свои белые. Давай, покуда сердце горит. Для тебя всю Мамониху распушу.

– Нет, нет, не надо, – сказала Полина, но слова Гехины понравились: блеском взыграли глаза.

– Ну как хошь. А то я своего конягу взнуздаю, – Геха кивнул на могучий гусеничный трактор, густо, до половины кабины заляпанный грязью, – моменталом сделаю.

\* \* \*

Геха выставил две бутылки «столичной» – остатки, как он сказал, от ночного заседания с начальством, то есть от рыбалки, с которой он прямо, не заезжая домой, заявился к ним, но и Полина не ударила лицом в грязь – тоже бутылкой хлопнула.

Где, когда она раздобыла это добро – на аэродроме, в райцентре, покуда он бегал к знакомым, Клавдий Иванович не знал, да разве и в этом дело? Главное, что спесь сбили. А то ведь на стол свои бутылки начал метать, будто тут нищие живут.

И еще Полина сразила Геху своими нарядами. Всё по самому высшему классу: красные штаны в струночку, белые туфельки на высоком каблуке, белая кофточка с золотым поясом змейкой. Ну, прямо артистка вышла к столу.

По правде сказать, у Клавдия Ивановича не было большой охоты бражничать с Гехой, но как же было уклониться, ежели тот сам первый предложил? Что ни говори – гость. Да и Полина сразу загорелась: ведь надо же кому-то хоть раз показать свои наряды!

Расположились на вольном воздухе, на свежевыкошенной поляне за колодцем, под молоденькой рябинкой.

– Ну, как говорится, будем здоровы, – сказал Геха и легко, как воду, опрокинул в себя стакан водки. Затем сплюнул, ничем не закусывая, и начал торг без всякого подхода.

– Косых три, пожалуй, за эти дрова дам, – сказал он и пренебрежительно, не глядя, кивнул в сторону дома.

Полина (она, конечно, взялась за дело – бухгалтер, всю жизнь имеет дело с материальными ценностями) спокойно улыбнулась:

– Ну, а насерьез, без трепя?

– Чего насерьез? Мало сейчас дров валяется по деревням!

– Дров-то много. Да таких домов, как наш, один. На станцию отвезешь – сколько возьмешь?

– Сколько? – ухмыльнулся Геха.

– А тысячи две с половиной – самое малое.

– Тю-тю! Сдурела баба...

– Ладно, ладно, зубы-то не заговаривай. Не таких видали.

– А мы вот таких не видали, – сказал Геха и хлопнул Клавдия Ивановича по плечу.

– Эх, и везет же чувакам! Да откуда ты только такую и выкопал?

Клавдий Иванович, горделиво улыбаясь, только головой покрутил. Не уважал он Геху, ни теперь, ни раньше не уважал, но слова его еле-еле пролились на сердце.

– Ладно, – сказал решительно Геха и трахнул своей пятипалой кувалдой по ихнему хлипкому столику – фанерному ящику из-под конфет, – пей мою кровь! Еще сотнягу накинута. Только ради тебя, ради твоих симпатичных глазок.

– Девятьсот, – сказала Полина.

Пошли страсти-мордасти, потел торг. Геха, все время игравший в парня-рубаху, начал горячиться, он даже выматюкался, и Полина, хотя и по-прежнему улыбалась, тоже мало-помалу стала накаляться – красные пятна пошли по лицу.

Наконец она и вовсе сорвалась:

– А ты чего сидишь как именинник?

Клавдий Иванович напустил на себя деловой вид:

– Думаю, действительно надо...

– Да чего надо-то? – еще пуще распалилась Полина.  
Геха захохотал во всю свою широкую, жарко горевшую на солнце пасть, а Виктор вдруг завопил от радости:  
– Бабушка Яга, Бабушка Яга!  
Клавдий Иванович глянул на деревню – баба Соха.  
Вывернулась из-за дома Павла Васильевича и к ним. Как старая лошадь, мотает головой. И белый платок так и играет над ржищем. Видать, по всем правилам в гости собралась, во все праздничное вынарядилась.  
Но что это? Старуха вдруг повернула назад.  
Клавдий Иванович закричал:  
– Баба Соха, баба Соха, да куда же ты?  
– Не надрывайся, не придет, – сплюнул Геха.  
– Да почему?  
– А потому, что там, где я с МАЗом – ей дороги нету. Нечисть всякая терпеть не может железа да бензина.  
– Не говори ерунду-то.  
– Ерунду? Да ты что – в Америке родился? Не знаешь, сколько она, стерва старая, народу перепортила?  
Тому килу посадила, того к бабе присушила, у того корову испортила... А нынче людей нету, дак она что сделала? На птице да на звере вздумала фокусы свои показывать. Пойди-ко послушай охотников. Стоном стонут, которые этим живут. Пера не найдешь за Мамонихой. Всю птицу разогнала. Чтобы ни тебе, ни мне.  
– А по-моему, дак это твоя работа. Я недавно Михеевым усом прошелся – весь бор перерыт-перепахан, весь лес провонял бензином. Да с чего же тут будет птица жить? Кусты-то, и те скорчились. Листы, как тряпки, висят...  
– Ай-ай, опять слезы по кустикам. Далась тебе эти кустики. Мне тут одна книжечка попалась – ну, в каждом стихе плач по этим кустикам. Особенно насчет березы белой разора много. Береза – ах, березонька, стой, березонька, свет очей... А мы от этого света слепнем, мы из-за этой березоньки караул кричим. Все поля, все пожни, сука, завалила! А ты – кустики...  
– Да я не о кустиках, а о Мамонихе. Вон ведь ее до чего довели. Посмотри!  
– А кто довел-то, кто? – резко, в упор спросил Геха.  
– Кто-кто... Думаю, разъяснений не требуется...  
– А ты разъясни, разъясни. Молчишь? Ну дак я разъясню. Ты!  
– Я? Я Мамониху-то до ручки довел? Да я двадцать лет в Мамонихе не был!  
– Во-во! Ты двадцать лет не был, да другой двадцать, да третий... Дакая тут жизнь будет? Критиковать-то вы мастера... Ездит вашего брата – каждое лето. Ах-ох, то худо, это худо... Геха-маз загубил... Да ежели хочешь знать, дак только благодаря Гехе-то-мазу тут и жизнь-то еще пышет! Та же твоя тетка да Федотовна... Да не привези я дров – зимой, как тараканы, замерзнут...  
– Ну, ну будет, – воззвала к миру Полина. – Худо вам – под рябинкой сидим?  
– Нет уж, выкладывать, дак выкладывать все, – с прежним запалом заговорил Геха.  
– Не от первого слышу: Геха как в раю живет. А я каждый день на трактор сажусь как на танк. Как на бой выхожу. Баба провожает – крестит: вернусь аль нет. Толька Опарин из Житова в прошлом году заехал в эти березки белые, а там яма, чаруса – теперь там лежит. Понятно, нет, о чем говорю?  
– Понятно, понятно! – сердито сказала Полина. И у нее кончилось терпенье. – В одной деревне выросли, а кроме лая ничего от вас не услышишь.  
– А и верно, мы не в ту сторону потащили, – моментально сдался Геха и протянул свою темную ручищу: – Ну дак что-ударили? А то ведь я могу и передумать.  
– Чего передумать? – переспросил Клавдий Иванович.  
– Да насчет твоих дров.  
– Папа, папа, не продавай!  
Выкрик сына словно вздыбил Клавдия Ивановича, и он с неожиданной для себя решимостью сказал:  
– И не продам. Об этих дровах, может, у отца последняя дума была, когда умирал на фронте, а я Иуда, по-твоему? Так?  
В наступившей тишине вдаль, у дома, шумно взыграли тополиные листья, по которым пробежал ветерок, и стихли.  
– Да что же – отбой? – спросил Геха, обращаясь к Полине.  
Полина вопросительно посмотрела на мужа, но Клавдий Иванович, почувствовав новую поддержку сына (тот крепко, изо всех сил сжимал его руку), не пошатнулся.  
И тогда Геха сказал:  
– Ну что ж, не захотели взять рубли, возьмете копейки.

\* \* \*

Полина объявила бойкот. Это всегда так, когда чуть что не по ней: глаза в землю, язык на замок и никого не слышу, никого не вижу.



Клавдий Иванович землю носом рыл, чтобы угодить жене. Он истопил баню, сбегал на станцию за свежими огурцами и помидорами, даже две курочки раздобыл в соседней деревушке, а уж о свежей лесовине и говорить нечего: грибы да ягоды у них не переводились. Нет, все не в счет, все не в зачет.

И вот какой характер у человека – даже своего любимчика не жаловала. И на бедного, растерянного Виктора жалко было смотреть: и мать от него стеной отгородилась, и к отцовскому берегу пристать решимости не хватало.

Самому Клавдию Ивановичу душу отогревать удавалось у бабы Сохи.

Утром он выйдет из дома, вроде как в лес, за подножным провиантом, а сам перейдет Вертушиху и к старухе.

Задами. Заново натопанной тропкой.

С бабой Сохой можно было разматываться на полную катушку – все поймет, не осудит. И он разматывался.

Обо всем без утайки говорил: о своем житье-бытье с Полиной, о Лиде, о Гехе.

Но вот что было удивительно! Как только он заводил речь об отцовском доме – а ведь именно из-за дома весь нынешний сыр-бор разгорелся, из-за дома у него война в семье, – так баба Соха отводила в сторону глаза.

Клавдий Иванович горячился:

– Я что-то не пойму тебя, баба Соха. Неужто ты хочешь, чтобы я своими руками раскатал отцовский дом? Да я, может, еще в Мамонихе-то жить буду! Сама же рассказывала, как брат у тебя на старости лет домой вернулся.

– Да как ведь то когда было-то.

– Неважно. Сейчас команда на подъем всей русской жизни. Чтобы все земли, какие заброшены да заросли кустарником, снова пахать да засеивать. Это тут у вас умники объявили: Мамониха кончилась, Мамониха неперспективна. А сейчас – стоп! Сдай назад. А то ведь эдак всю Россию можно неперспективной сделать. Правильно говорю?

– Не знаю, не знаю, Клавдий Иванович, – вздыхала старуха. – А только не советую тебе срываться с насиженного места.

– Почему?

– А тяжело нынче жить в деревне.

– Тяжело... А дедам нашим легче было? Одной лопатой, да топором, да сохой раскапывали здешние поля. А нынче сколько техники всякой, машин!

– Много, много нынче машин, – соглашалась старуха, – да люди нынче другие. Балованные. Легкой жизни хотят.

– Ничего, – стоял на своем Клавдий Иванович, – и нынче всякие люди. Мы с тобой, к примеру, всего хлебнули: и войны, и голода, и холода. Забыла, как после войны тошнотики ели – колобушки из картошки, которую собирали па полях весной? А в чем ходили – помнишь?

Однажды Клавдий Иванович, который уже раз в душе оплакивая судьбу Лиды, признался старухе;

– А я все не могу понять, баба Соха, как это она с Курой-то связалась. Как подумаю, так и голова кругом.

– А что ей было делать-то? Ты из армии не вернулся.

– Я? Да я-то при чем?

– Ждала она тебя.

– Лида? Лида меня ждала? – Клавдий Иванович перестал дышать.

– Парато ждала. Все говорила, бывало: «Вот Клавдия вернется, и мы заживем». Она так и Гехе сказала, когда тот замуж ее звал.

– Геха звал... Лиду?

– Звал. Приступом приступал. Думает: я Лиду от его отвела, потому и жизни мне от его нету, а я уж словечушка поперек не сказала. Сама. Сама. Ни в какую: «У меня, говорит, Клавдия есть. Я, говорит, Клавдю жду».

Клавдий Иванович, как во сне, вышел от старухи.

Лида, Лида его ждала... Ихняя принцесса, первая ученица школы, девочка, с которой они еще детьми бегали зимой от дома к дому: наперегонки – кто быстрее да проворнее. И он представил себе, чего стоило гордой, своенравной Лиде написать ему отчаянное, унижительное письмо, в котором она предлагала ему себя...

В тот день он долго, предаваясь воспоминаниям, бродил по невыкошенным погням Порчья, по заросшим полям, по ягодным ручьям и горушкам – по всем местам, где бывал с Лидой. Затем вспомнил, как они подростками вместе с мамониховскими ребятами и девчонками бегали на вечеринки в окрестные деревушки – ни голодуха, ни работа, ничто не могло убить в них молодость, нарастающую жизнь, – и уже под вечер отправился в окрестные починки, хутора, деревни.

Густо стояли селенья в их лесном краю, по душе пришлась дедам и отцам поднятая из-под корня земля, и был, не был достаток в дому, а названия селеньям давали сытные, хлебные. Ржаново, Овсянник, Ржище, Калачи...

Калачи и раньше не бог весть какой населенный пункт был – на пальцах двух рук пересчитаешь дома, и Клавдий Иванович не очень удивился, когда на месте деревни нашел один заколоченный дом. Давно заколоченный, может быть, еще в пятидесятые годы, потому что не только крыша сгнила – доски, которыми были забиты окна, выгорели, истлели да выкрошились. Но Ржаново его поразило. Большая по ихним местам деревня, в двадцать пять-тридцать домов – и богатая без дураков. После войны в самое голодное время тут можно было на тряпку хлеб выменять. И меняли. Мать Клавдия Ивановича всю оставшуюся от отца одежку сносила в Ржаново. Но сейчас не было жизни и в Ржанове. Да и самого Ржанова, считай, не было. Два домишка в верхнем конце, дом посредине, три в нижнем – да разве это Ржаново? Да и дома-то уцелевшие были не из лучших, так что сразу было ясно: хорошие перевезли. Либо на центральную усадьбу совхоза, либо на станцию, в райцентр. И тут, надо полагать, дело не обошлось без Гехи.

Но нет, в Ржанове жизнь все же была. Сперва Клавдий Иванович услышал звук топора – самой желанной музыкой рассыпался в нежилой тишине – вот как пустой-то деревней шагать, а затем увидел и человека. На обочине, у самого выезда из деревни, там, где бежал знакомый проселок, над которым теперь густым розовым облаком клубилась пыль – должно быть, только что проехала машина. Человек брусил топором толстое бревно, наверняка сухостойное, накрепко просмолевшее, потому что топор не ухал, а звенел, да и щепка, отлетавшая в сторону, была мелкая.

– Чего-то не пойму, ради чего пот проливаем? – сказал Клавдий Иванович вместо приветствия.

Человек разогнулся. Немолодой уже, пожалуй, даже пенсионного возраста, но еще в силе – дышал ровно и такие добрые, такие хорошие глаза были у него.

– А я, думаешь, понимаю? – легонько воткнул топор в бревно, посмотрел на деревню, вернее, на то, что осталось от деревни. – Думка-то у меня – память оставить о Ржанове.

– Так это вы что же – памятник в честь Ржанова хотите сделать?

– Памятник не памятник, а что-то вроде поминальника. На этот вот столб хочу щит, обтянутый алюминием, набить, а на щите коротко все данные о Ржанове: когда, кем основано, сколько жителей было, кто на войне голову сложил...

Роман Васильевич – так звали мужика – постучал слегка носком окованного башмака по бревну и спросил:

– Как думаете, пару десятков лет постоит?

Бревно было лиственничное, из прочнейшей древесины, и Клавдий Иванович, тоже для порядка постукав его ботинком, живо воскликнул:

– Как не постоит! Лиственница. Все пятьдесят выстоит.

– Пятьдесят не надо. Это я на то время, пока эта канитель с укрупнением да разукрупнением сел идет. А то ведь будущие люди, которые сюда придут, не будут знать, кто тут и жил. История исчезнет.

– А вы думаете – Ржаново возродится? – волнуясь, спросил Клавдий Иванович.

– Возродится. Обязательно возродится. А как же? К двухтысячному году, ученые подсчитали, население планеты удвоится, в два раза вырастет, а тут, что же, кустарник выращивать будут?

Роман Васильевич оказался рассудительным, знающим человеком (шутка сказать: тридцать два года инженером на больших или великих стройках, как их раньше называли, проработал), и Клавдий Иванович, всю жизнь тянувшийся к образованным людям, всласть наговорился – простой был человек, не задира нос.

Домой он пришел в потемках. Виктор уже посапывал в своем углу, а Полина – бог ее знает – может, тоже спала или по-прежнему дулась на него. Во всяком случае, никак не прореагировала на его возвращение.

Ему хотелось есть, весь день ничего, кроме ягод, во рту не было, но он не решился разбираться с едой. Быстренько разделся, быстренько растер тело руками (чтобы не застудить жену) и лег к ней с краешка. На него сразу же дохнуло как из духовки – ужасно раскалялась в постели Полина, и у него по привычке возникло желание с ходу, бесшабашно броситься в этот жар. Но он сдержался – жена не любила мальчишества. А вскоре он и вовсе забыл про нее и начал перекачивать в мыслях сегодняшний день.

Семь дней прошло со времени его приезда в Мамониha, а что он сделал? Побродил по деревне, прошелся по окрестностям... Нет, нет, не то. Тот же Роман Васильевич что надумал? Ржаново увековечить. Эх, надо и ему об этом самом поминальнике подумать. Мамониha – разве не деревня? Разве у нее нет своей истории, своего прошлого?

Как, как он сказал? – пытался припомнить Клавдий Иванович мудреные слова Романа Васильевича. – «Как бы за нашими перестройками русская история не исчезла... И русский ландшафт... Да, да, говорил Роман Васильевич, будет, будет новое поле. Будут рожать и Мамониha, и Ржаново, и Калачи... Но я хочу, чтобы у этого нового

поля было русское лицо...»

Под конец, когда уж у Клавдия Ивановича начали путаться мысли в отуманенной сном голове, он опять вспомнил о Лиде. И это было впервые, впервые за все семнадцать лет их совместной жизни он подумал о другой женщине.

\* \* \*

Виктор первый проснулся от дождя.

– Мама, мама, что это на меня капает?

Клавдий Иванович торопливо зажег лампу: с потолка струей лилась вода. Он выбежал на крыльцо: жуткий ливень. Шагу нельзя ступить в сторону.

С этой минуты они уже больше не спали, а утром, едва начало светать, он полез на крышу.

Лазал, латал дыры под проливным дождем – тут, там, а что толку? Вернулся в избу – потоп.

– Ну, видишь теперь, почему дом продавать надо?

Три дня лютовал, не переставая, дождь, три дня нельзя было высунуть носа из дома. Виктор заскулил, да и Полина все чаще начала раздувать ноздри.

Но это были еще цветки. А ягодки-то начались, когда у них вышел хлеб. Надо было идти на станцию или в Резаново, но куда же в туфельках по нынешним хлябям?

А они по легкомыслию (и тут уж виноват был исключительно сам Клавдий Иванович) не захватили с собой даже резиновых сапог.

Их выручила баба Соха. Сама под проливным дождем приковыляла с целым коробом всякого печева, теплого, только что вынутого из печи и завернутого в мешковину.

Но долго ли будет нынешний человек жить на одном хлебе? И тем более такой избалованный человек, как Виктор? День прожил нормально, а на завтра новый скулеж:

«Мяса хочу. Масла...»

Тетка заранее писала Клавдию Ивановичу, что ежели привык, хочешь уедно исть, все вези с собой, а нет, посылай наперед себя посылки – так ноне в деревню-то ездят. Но он как-то не придал значения теткинским словам, можно сказать, мимо ушей пропустил, и вот попробуй теперь – растолкуй ребенку, почему у них в поселке можно разжиться мясом и маслом, а тут нет.

Клавдий Иванович стал подумывать об эвакуации.

А что было делать? Дожди не проходили, в избе было сыро, и это несмотря на то, что он с утра до ночи калил обе печки, а потом и вовсе дело дрянь – Виктор закашлял, да и Полина начала носом ширкать.

Тут Клавдий Иванович сразу решился – идти в Резаново на поклон к Гехе. Другого выхода не было.

Геха явился сам.

Утром, сразу же после чая, Клавдий Иванович начал было снимать штаны – после таких дождей полдороги придется грязью выше колена брести, и вдруг под окном железный гром и грохот.

Виктор и Полина пулей вылетели на улицу – про дождь, про непогодь, про все забыли.

А вскоре в избу ввалился и Геха.

– Ну что, господа туристы? Как оно на второй-то целине? – спросил он и захохотал.

Геха легко было хохотать. Сапоги резиновые, дождевик непромокаемый, парусиновый, чуть ли не до пят, толстый ватник – это снаружи, а изнутри спиртной подогрев.

Но Полина и Виктор издевку в расчет не принимали.

Они смотрели на него как на бога-избавителя и готовы были обнимать и целовать.

– Дяденька, дяденька, вы это за нами, да? – не один раз спросил Виктор, все еще не веря в подкатившее счастье.

– За вами, за вами, – добродушно похихатывал Геха. – Это ведь только он думает: Геха-зверь, – добавил он, кивая на Клавдия Ивановича.

Отъезд походил на бегство.

Быстро скидали в кузов вещишки, Полина с Виктором сели к Гехе в кабину, а Клавдий Иванович полез в открытый кузов.

– Дождевик дать или закаляться будешь?

– Закаляться! – со злостью бросил Клавдий Иванович.

Все-таки не мог совладать с собой, хотя и крепился изо всех сил.

– Давай, давай! – опять с каким-то добродушием, похожим на издевку, сказал Геха и пошел к кабине.

Клавдий Иванович вспомнил про бабу Соху.

Он сбросил с себя холодный, задеревеневший дождевик (Геха в последний момент бросил), забарабанил в мокрое, выпуклое железо кабины:

– Подождите с полчаса, я с бабой Сохой попрощаюсь!

Федор Абрамов Мамониха [abramovfyodor.ru](http://abramovfyodor.ru)

– А это уж ты у хозяйки спрашивай, – сказал, высовываясь из окна кабины, Геха. – А я что – извозчик.

– Не выдумывай! Я вся замерзла, зуб на зуб не попадает. А о сыне-то ты подумал? Клавдий Иванович не стал настаивать. В конце концов баба Соха все поймет, не осудит его.

МАЗ, загремев мотором, качнулся вправо, качнулся влево и пополз на дорогу. Из мутной завесы дождя последний раз вынырнул большой отцовский дом и тотчас же растаял, а потом справа, над рощей мокрого осинника, по которому уныло барабанил дождь и который, показалось Клавдию Ивановичу, еще более буйно разросся за эти дни на здешних полях, темной, бесформенной тучей всплыла Мамониха.

Мокрым глазам его стало горячо.

Не много, не много радостей отвалила ему Мамониха, чаще злой мачехой оборачивалась, но это была его родина. И он знал: что бы с ним ни случилось дальше, где бы он ни оказался, куда бы ни забросила его жизнь, а самое дорогое, самое святое для него место на земле, во всей вселенной тут, в Мамонихе, в этом задичавшем лесном краю.

1972–1980, 1981

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://abramovfyodor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!